

Юзеф Игнацы Крашевский

УЛЯНА

I

Если есть сторона тихая и покойная, то уж это, конечно, наше Полесье. Коли через которую-нибудь деревню не проходит почтовая дорога или торговый тракт, так кроме обыкновенного деревенского шума, составляющего как бы ее отголосок, ничего не слышно постороннего, ничего не видно чужого. Все кафтаны одинаково серы, все платья одинаково белы, и сосны одинаково зелены, и избы одинаково низки, неуклюжи, и один и тот же черный дым поднимается над ними. Однако, как двух одинаковых листьев на стебле, так двух одинаковых деревенок не найдешь в Полесье; там церковь повыше с темными галереями вокруг; там лес гуще, там изб больше; все они схожи, словно сестры родные, а совершенно одинаковых нет, как нет одинаковых двух лиц человеческих.

Взгляните сюда, над этим озерком, что тихо и спокойно легло у подошвы холма, занятого господским двором. Это одна из красивейших деревенок Волынского Полесья, ее окружающего. Когда спустишься с пригорка, по которому вьется

дорога, видишь перед собою деревню, рассыпавшуюся над берегом озера; за ней белеется господский дворик, а здесь старая трехкупольная церковь, стоя на пригорке, поглядывает на окрестности. Дорога идет до корчмы, которою начинается деревня. Кругом в отдалении сосновый лес, более или менее вырубленный, ниже или выше неперменная принадлежность каждого вида в Полесье, песок, кочковатое болото, по которому сочится речонка, поросшая тростником, и над этим пасмурное небо.

По деревне тянется грязная улица, кое-где перерезанная тропой от избы до гумна, устланной кострикой или стружками и щепами. Улицу окружают поочередно избы, хлева, гумна, целые и развалившиеся, покачнувшиеся, по углам подпертые, с подогнувшимися столбами, с провалившимися крышами, или только что начинающиеся строиться; между ними остатки тына и старой изгороди из кольев да хворосту. Здесь и там, из-за забора нагнулась на улицу бледная рябина, выглядывает старая груша или качается над головой прохожего тихонько длинная бадья от колодца. Перед низкими избами, неплотно покрытыми черными от дыма драницами, едва прикрепленными к стропилам, видишь только под выдавшеюся застрехою кое-какую завалинку, состоящую частью из колоды, положенной у стены,

низенькие двери со двора, понижающиеся еще высоким порогом, не допускающим близ стоящей луже влиться в сени, маленькие окошки с круглыми, похожими на бутылочное дно стеклами. Редко эти стекла заменяются другими, более тонкими и белыми. Над закоптелой высокой крышей торчит деревянный дым-ник, черный от дыма, вроде трубы или четырехгранного столба. Зимой, а часто и в другую пору года дымника этого недостаточно, чтобы выпустить дым, собравшийся под крышей избы; он лезет во все щели, окна, двери, сквозь стены и крышу так, что кажется, будто изба горит внутри и вот-вот покажется пламя. В такой атмосфере смоляных и удушливых испарений и чаду проводят всю свою жизнь жители Полесья.

Внутренность избы доказывает ту же бедность или беспечность; сени, обыкновенно грязные, по которым гуляют свиньи, завалены граблями, наготовленными к зиме лучинами, ольховыми дровами, лестницами и обломками испорченных сох и боров; из сеней единственный ход в комнату с печкой и лавками вокруг, темную, маленькую, дымную, без пола. Посередине стол, квашня, в углу избы на лавке под святым образом, порой еще детская колыбелька и ткацкий станок. Словом, это положение еще полудикого человечества, не думающего ни о чем, кроме удовлетворения своих

первых животных нужд. Детские мельницы в канавах и у изб садики, в которых золотится ноготок, цветет подчас мальва и рдеет красный мак, доказывают, что и здесь маленьким детям позволено порой позабавиться. Скоро, однако, и дети, начиная пастушеством и нянчением младшего поколения, переходят к жизни труда, кидают навсегда свои игрушки, и девушка, выйдя замуж, не думает уже сажать цветов и рядиться в цветы.

О, как далеко легче, свободнее над озерком, чем в этой избе, печальной и грязной. На горе стоит дом владельца, окруженный тополями, отражающимися в воде, обставленный житницами, гумнами, скирдами и стогами сена. Среди деревьев видны там и голубятни и бадьи колодезя, а сзади на пригорке неработающая ветряная мельница.

Далее, на другом возвышенном берегу озера, церковь, черная, маленькая, старая; подле нее и колокольня. Церковь молчаливая, которая живет еще, когда пением оглашаются ее стены, ударят в колокола, и она наполнится народом. От воскресения до воскресения молчаливая, глухая, смотрит она на деревеньку, словно старуха на детей, копающихся в песке. Вдали, на желтом поле, посреди крестьянских выгонов, есть деревенское кладбище, изрытое могилами, над которыми стоят черные кресты, по два, по три, от мелких, на

которые того и гляди ногой ступишь, до высоких как сосны, простые и выкрашенные, с изображением Христовых страданий и без оных. Выше всех поднялся крест Семена Бортника, покрытый зеленой крышей; сын ему поставил его, получил он после отца сто бортей, так было из чего.

Вопрос, как живут люди, которые наполняют эти избы, молятся в этой церкви, лежат на этом кладбище? Жизнь эта печальна и, однако, привычка облегчает ее; родил бы Бог хлеб, лишь бы слишком изобильный лов рыбы не напугал бы их голодом, ибо верят они в поговорку: когда рыба ловится — жито не родится. Легко объяснить это поверье: рыба ловится лучше всего, когда много воды, а низкому местоположению Полесья разливы угрожают неурожаем. Мы забыли еще об одном, важнейшем в деревне здании, которого нельзя миновать при описании. Мы видели господский дом, который для крестьянина представляет власть и верховность, видели церковь, сокровищницу небесных надежд будущей жизни; остается корчма, место ежедневного утешения. На все эти три окружающие мужичка алтаря должен он принести жертву: должен он отработать, отплатить барину за попечение, арендатору — за утешение, ксендзу — за надежды; все трое живут им, да и он без них жить не мог бы. Покажите мне деревню без господского дома, церкви, корчмы, — это будет

разве какая-нибудь сирота, имеющая где-нибудь неподалеку опекунов. Если еще дело обойдется без господского дома, кое-где без церкви (потому что есть места, где за милю ходят молиться и хоронить умерших), то где же найдется деревня без корчмы? Это была бы тварь без сердца. Корчма — место сходки, совета и веселья; в ней все завязывается и развязывается; в ней и открывают один другому свое горе, в ней спорят и дерутся, и ссорятся, и мирятся и любят. Корчма — сердце деревни, как церковь ее голова, а господский двор — желудок; руки и ноги этого тела — избы мужичков. В этом длинном, покачнувшемся здании, в котором живут вместе еврей с семейством, рогатый скот, возы, гуси и куры, через стену от него и иногда даже и в одной комнате, главное место сходки и совещаний, нынешнее вече мужичков. Над ее крышей высится аристократическая, белая труба, окна похожи на мужицкие, но значительно больше; у окон ставни, у двери порою железный пробой, если не первобытные деревянные засовы.

В первой избе, кроме кровати (которая должна быть в каждой избе), есть стойка, шкаф с намалеванными на нем квартами и венком из кренделей, печь с лежанкой и широкий камин, который и летом должен топиться для жителя Полесья, ведро воды — бесплатного напитка для безденежных путников, несколько ребятишек,

много грязи и смрада.

В другой может быть убитая коза, баран или теленок, полный угол картофеля, десять заповедей в углу, опять несколько кроватей с высокими постелями, лавка, столик. Здесь еще большая людность, еще более удивительные (если возможно) испарения. Такова корчма Полесья — сердце деревни.

Здесь-то увидишь старцев, притащившихся, чтобы залить в голове остаток ума и памяти; женщин, оборванных и грязных, принесших крупу, яйца, кур, часто последнее бердо со станка за кварту водки; девчонок, выпивающих десятками глотков рюмку водки, иззябших мальчуганов, прислуживающих арендаторам за каплю этого очаровательного напитка. О, сколько же тут сцен, которых половина людей не видит, — так они низки, а другая половина считает недостойными ближайшего внимания. Сколько занимательных разговоров услышат эти грязные стены, сколько споров и происшествий! И никто не видит собирающихся тут людей, и никто их не слышит, а ведь и они люди. Здесь открывается, может быть, яснее ничем не скованная природа человека, человека в наготе, как вышел он из рук Божиих.

Но пора выйти из корчмы и заглянуть в господский дом. Владелец этой деревни, один-одинешенек, неженатый, недавно воротился

из города, еще молодой, с пылкой головой и с пламенным сердцем, Тадеуш Мрозочинский, окончивший курс наук при жизни родителей, почтенной шляхты, сирота, довершил свое образование, школьное и университетское, в городе сам. К счастью или к несчастью его, он попал в общество молодежи, не совершенно испорченной, но сумасшедшей; из этого сообщества, из любимых книг, вынес он поэтическое помешательство и странное убеждение, что для того, чтобы быть великим человеком, довольно быть великим чудачком. И поэтому какие чудеса выделывал он в городе, что позволял себе — описать и рассказать трудно. Не признавая обязательными никаких принятых правил общественной жизни, не обращая никакого внимания на людские мнения, он делал только то, что ему нравилось, часто поступая благородно, и еще чаще только очертя голову. Это был молодой человек не рассудительный, не чувствующий потребности воздержания, впечатлительный, борющийся с сопротивляющимся ему светом, не останавливаемый ни препятствиями, ни собственным смешным положением — ничем. Раздражало его все, но ничто не удерживало.

Наконец, с Тадеушем приключилось происшествие, из которого он вышел бесчестно обманутым, по простоте своей, благородству и добровольной слепоте. Едва-едва спасенный от

несчастья, он возненавидел свет, стал мечтать о затворнической уединенной жизни и уехал в деревню, на свое озеро, здесь положил себе только читать, думать, и так провести целую жизнь. Легко было предвидеть, что это внезапное, пылкое и необдуманное решение могла возмутить одна минута, а целый год должен был изменить его своею тяжестью; но ему казалось, что он выдержит эту жизнь, что сроднится с нею навсегда. Удивительно, как человек во всем, что делает наперекор своей природе, хочет создать себе вечность, не будучи в состоянии поручиться за завтрашний день, клянется до смерти и, сто раз обманувшись, в сто первый раз начинает горький опыт необдуманных обязательств навеки. Тадеуш тешился мыслью об этой затворнической жизни, сказал себе, что у него нет друзей, нет родных, нет никаких связей в свете, что он один взял себе на плечи свою судьбу, пересоздал ее и не хотел уже знать и видеть никого, и над своим озером среди неприступных болот и лесов, с ружьем, собакой и книжкой, думал провести свой век. Дом, как свято получил он его от родителей, так свято и сохранил его, ничего в нем не тронув, ничего не переделав, и, хотя видел лучшие, хотя мог иметь более удобный, ценил он в нем последнее живое воспоминание о тех, которые любили его и которых уже не было на свете. Он выбрал себе только одну угловую

комнату, предоставляя другие гостям.

Вид опустелого жилища, из которого, кажется только вчера исчезла жизнь, и обитатели словно вышли на дальнюю прогулку, был печален, но весьма трогателен. В комнате матери на камине шли ежедневно заводимые часы, пели старые канарейки, лежал недовязанный чулок, подушка под ноги, книжка открытая на богослужении Лютеранской Божией матери, заложенном ленточкой. Даже кровать, под красным, парчовым пологом, стояла постланною, и ключи от комода и конторки, висели на гвоздике, вбитом четверть столетия назад.

В комнате отца тот же порядок: — ружья на крючке, мешки и трубки, календарь на шнурке, высохшая чернильница на столике, на котором лежали карманные часы с гербовой печаткой, зеленый кошелек для денег и табакерка из раковины. Недогоревшие ольховые поленья в камине и запас их в ящике. На полочке свеча, спички и нарезанные бумажки для закуривания трубок. Далее шкаф с платьем, кровать с образом Богоматери Ченстоховской; в головах сретенская свеча, которую зажигал тот, кто здесь спал. И все было словно вчера оставлено, только что покинуто. Каждую минуту думалось, что вот-вот услышишь голос умерших, увидишь их входящими; они жили еще тут в почести, какою отдавал им сын. Не

каждый бы мог один, в присутствии такого раздирающего душу, такого трогательного воспоминания об умерших, выжить и глядеть на все без страха или непонятого беспокойства; у Тадеуша достало на это силы, и любо было ему вечером наполнять тенями родителей эти пустые комнаты, в которых распевали только материнские канарейки, а старые часы, казалось, шептали постоянно: «Вечный покой».

Он ничего не тронул с места, ничего не позволил переставить; уважал даже угли в камине отца и пепел из последней выбитой трубки, и пробную пшеницу, рассыпанную на окне, которую могли есть только мыши.

Так уединенная затворническая жизнь пана Тадеуша тянулась уже, кажется, месяц или два, и то много, очень много. Книжки, охота, прогулка, размышления занимали все время; он чувствовал себя покойнее, если не счастливее и хоть порой и зевал, хоть каждый день снился ему шумный город, и стук экипажей, и звуки музыки, и говор людей, но когда просыпался он при шуме озера, или отголоске церковного звона, то чувствовал, что ему здесь лучше и как бы испытывая сладкое упоение совершенного мщения, говоря:

— Обойдусь без света и людей.

Один только слуга, довольно неловкий, зато молчаливый, — составлял всю дворню.

Управляющий, повар, ключница редко ему показывались; он отдавал приказания, смотрел, исполняются ли они, и затем обращался к ним только в крайней необходимости. Часто прямо Якоб, слуга, отдавал приказания, зато Якоб был важной фигурой во дворе, потому что один он имел доступ к барину: он был как бы первый министр.

В комнате Тадеуша была жесткая кровать, столик с книгами, на стене оружие и ягдташи, собака, греющаяся перед камином, шкафчик, запертый у двери: вот и вся мебель его. Наряд его состоял из трех фантастических частей одежды, которые идут наперекор моде и уставов ее не слушают: серой куртки, черной шмарки, зеленой лисьей шубки, шапки бараньей, соломенной шляпы и твердых лосиных перчаток.

Недавно первый щеголь в городе, в деревне выбрал тот род обыкновенного наряда, который не отличал его от других.

Совершенный затворник, отрекшись от света, не посещая даже ближайшего городка, он хотел жить только для себя, не обращая внимания ни на что и ни на кого, и целым днем распоряжался как хотел, как задумал. Дел у него не было никаких, ничто ему не мешало, и радовался он своей свободе, ставя ее выше жизни городской и мысленно давая обещание никогда уже к ней не возвращаться.

— Разве не довольно еще знаю я людей? — говорил он сам себе. — Неужели опять должен я страданием купить новый опыт. К чему? Разве мне не довольно? Сколько людей не имеют этой свободы, такого уголка, такой жизни, как моя, моей независимости. Сколько людей могли бы позавидовать мне. На что мне свет, когда довольно Якоба, собаки, ружья и нескольких любимых книжек; когда у меня есть лес, вода, земля, мой воздух, кусочек моего неба; когда ничего и ни у кого не прошу, нет у меня надоедал, и так мне хорошо, так покойно одному. Таким образом можно довести до берега жизненную лодку, не ища широкого моря и бури.

Говоря это, Тадеуш все-таки вздыхал, словно жалел, что не задалось ему прошедшее, словно добивался чего-то больше от жизни, словно создавал себе надежды, в которых не хотел сознаваться самому себе.

Само сожаление о прошлом, само воспоминание о нем обрисовывало состояние его души, еще необузданной, беспокойной, ожидающей награды за испытанное страдание, так как человек обыкновенно требует от судьбы уплаты. В нас есть предчувствие счастья; израненное сердце чувствует, что ему следует что-то за его язвы, и слепо отыскивает эту награду на месте битвы.

II

Очень рано после вчерашней охоты проснулся пан Тадеуш, но от девятого часа вечера до третьего утром отдохнул довольно: уже был близок день, и в окно слышалось щебетание птичек у дома в смородине и орешнике. Еще скрипела колодезная бадья, которая разбудила Тадеуша. Он вскочил с кровати, протер глаза и, поправив огонь в камине, присел за чай, уже приготовленный Якобом, собираясь опять отправиться с ружьем как обыкновенно один. Задумавшись, размышляя, ходил он по своей комнате; так всегда с утра, пока не проникался своею новой жизнью, вставал он свежеупоенный мечтами о прошлом, которое снилось ему всю ночь и которое должен он был потом отгонять, как надоедливую муху. О, прошлое, оборванное, недоконченное, камнем давит сердце!

Закончив чай, он надел поспешно свой наряд и, не дожидаясь солнечного восхода и тепла, выбежал к озеру, а оттуда по тропинке в лес.

Был прекрасный, чудный весенний день, прекрасный как дитя румяное, пробуждающееся в колыбельке с улыбкой, орошенный жемчужной росой, благоуханный и спокойный. Над озером, поднимаясь, колыхался легкий туман, пахло черемухой, заливались соловьи, на востоке алело

небо, там, где через минуту должно было народиться солнце. Перед ним вилась песчаная дорожка, ведущая через поля в лес. Позади его остался господский дом, озеро, деревня; перед ним развертывался черный, шумящий сосновый бор. Тадеуш задумался и опустил голову, и шел он таким образом долго, как вдруг верная собака его залаяла, и кто-то крикнул в испуге.

Тадеуш огляделся и увидел простую бабу из своей деревни, босую, в серой свитке, в белом платочке на голове, пробирающуюся, вероятно, в лес за весенними грибами, потому что за плечами на красном кушаке висел у нее кузовок. Взглянул он и невольно остановил на ней глаза: было что-то до того обворожительное в ее лице, в ее фигуре, даже в ее простых, но ловких движениях, что он не мог понять, каким образом такая красивая молодая женщина могла быть деревенской бабой. Глядел он, глядел, думая, что это верно кто-нибудь переодетый. Лицо так бело, рот так свеж, волосы так гладко причесаны под белым платком, движения ловки. Откуда это в деревне, в Полесье? Глянул на косы, желая узнать, замужняя ли? Кос не было. Значит замужняя.

Тадеуш приблизился к ней и не сводил с нее глаз. Она шла с засунутыми в карманы свитки руками, покраснев, с опущенной головой, словно стыдилась чего-либо, и была так прекрасна. На

лице ее не было улыбки, какие вообще появляются на устах простых женщин, когда они рады взглядам и похвалам. Она опустила голову, в замешательстве краснея.

— Аз витки ты? (откуда ты?) — спросил Тадеуш.

— Из села.

— С Озерок?

— С Озерок, — отвечала она по-польски.

— Ты говоришь по-польски?

— А что ж, говорю.

— Где же ты научилась?

— Во дворе.

— Где же ты была во дворе?

— Здесь, у господ.

— Как тебя зовут?

— Уляной.

— А твоего мужа?

— Оксен Гончар.

Все это говорила Уляна тихо и неразборчиво, оглядываясь и прибавляя шагу— Но Тадеуш был сильно занят этой ангельской внешностью в такой убогой оболочке и не отставал. Взглянул на ноги; ножки у нее были маленькие, но замаранные и черные. Вынула она руку из кармана, поправляя волосы, и рука была маленькая, розовая. Лицо у простонародья еще иногда попадает красивое, но рука? Рука, это привилегированное украшение тех,

кто ничего не делает; и имеет, кажется, красивую ручку только для того, чтобы ей хвастать; рука была чудом.

У Тадеуша уже не достало вопросов; у него билось сердце и горело лицо; а она так бежала, что он, наконец, должен был оставить ее, спросив только издалека:

— Куда же ты идешь?

— В лес за грибами.

Тадеуш повернул по тропинке в сторону и побрел, задумавшись. Появление этой красивой женщины вызвало в его голове тысячу тяжелых воспоминаний.

— О, — говорил он самому себе, оглядываясь на белеющую вдали свитку Уляны, — это цветок, заглухший среди негодной травы; цветок, который был бы красивее многих наших оранжерейных, если бы только вырос в садовой клумбе, а не в лесу. И не Оксен Гончар, но сколько лучше его умеющих любить, любили бы его. Как мог бы быть с ней счастлив кто-нибудь! Эти глаза не врут, в ней есть душа, но эта душа спит и будет спать целую жизнь. О, как был бы, — повторил он тихо, — кто-нибудь счастлив с нею. И не один, — прибавил он тотчас же с сарказмом. — Но один, двое вместе, может быть пятеро, десятеро, один за другим.

Это последнее странное замечание вызвало память о прежней любви, где счастлив был не один

он только, а кажется двое вдруг. Воспоминание его мучило его.

Тадеуш опустил голову и пошел в лес задумавшись.

III

Через несколько дней потом все были в поле, а Тадеуш, против своего обыкновения, направился по дороге, ведущей к деревне, в избу Гончара. Зачем, он сам не знал этого; а когда спросил себя и сознал, для чего делает это, то смеялся над собой, и, однако ж шел, словно зверь, которого тянут на веревке.

Как часто в одном человеке резко обозначаются два человека. Люди положительные и управляемые только рассудком никогда не чувствуют в душе этого раздвоения. Для иных же натур это составляет нестерпимое страдание. Часто в них один человек смеется над плачем другого, осмеивает его поступки и среди высочайшего блаженства, указывает тучи, собирающиеся на небе, разбивает наслаждение, анализирует его, обнажая своим недоверием. Холодный разум, как страж сидит высоко, смотрит под ноги и остерегает, и осмеивает. Человек редко послушен ему, и разум мстит насмешками, мстит позднейшими укорами. Чем менее слушают его, тем сильнее допекает он,

тем больнее кусает, тем более насмехается. О, это мученье! Сердце летит в свет, человек протягивает руки, чувствует себя уже счастливим, хватается свое счастье, а этот страшный голос Кассандры, которую человек носит в себе, кричит ему беспрестанно: — увидишь завтра твое счастье; или: — приглядишься, чего добился. И тогда человек оглядывается, начинает не верить, перестает быть счастливым.

Этот нравственный голос всегда сопротивляется воле человека, всегда становится ему поперек дороги. Увы, он всегда пророк разрушения, и пророк справедливый.

И человек опускает голову, закрывает глаза и повинуется страсти, не поднимает век, пока не разбудит его сатанинский смех торжествующего разума. Разум этот, или назовите его как хотите, несносен, упрям, неумолим. Голос его беспрестанно звучит в ушах и не дает покоя; заглушить его нет возможности, он с тобой везде, как твоя совесть, он часть тебя, но часть оторванная, независимая, которая плюет тебе в лицо, валяется с тобой в грязи и не замазывается, смеется над твоими наслаждениями, осмеивает неудачные намерения, горделивые планы показывает разрушенными.

Кто же из нас не знает этого неотступного товарища, этого змея, который, опоясав вас, сосет из груди вашей спокойствие и, заранее страшая черной будущностью, стирает сладкие чары жизни?

Кто же из вас не знает этого несносного надоедалу, от которого не скроешься и в самой глубине собственного сердца? Не убежишь от него, не подделаешься к нему; несносный упрямец, чем больше хочешь остановить его, тем еще сильнее грызет он вас.

Тадеуш боролся именно с этим врагом. Два человека говорили в нем: один — холодный, рассудительный, насмешливый, другой неосмотрительный, страстный, неопытный.

И первый безжалостно смеялся над другим, мучил его, корил, а другой, словно не слышал, словно не чувствовал, словно не понимал.

— Что же это? Ты полюбил Гончариху, простую деревенскую бабу, — говорил насмешник. — Мерзость... Соблазн... Стыд... Неужто осмелишься отважиться? Знаешь ли что это поведет за собой?

На все это Тадеуш ничего не отвечал. Шел, слушал и молчал.

Действительно, с ним делалось что-то непонятное. Произошла какая-то перемена. Ночью, не город с своим шумом, не лес с качающимися соснами и благоуханными березами, но прекрасные глаза Гончарихи снились ему; и глядела она на него этими глазами с тысячью обещаний и с какою-то упоительною грустью.

Послушный непреодолимому желанию видеть

глаза этой женщины, он шел к избе Гончарихи. В деревне было тихо, только дети играли на улице, старушка несла, покашливая, ведро и ежеминутно отдыхала, маленькие девчонки, в одних рубашенках, напевая, плясали по грязи перед избами, хороводом взявшись за руки. Войдя в деревню и приближаясь к избе, Тадеуш приостановился и устыдился самого себя.

— Безумный, — крикнуло ему одно я, то, которое никогда ничего не делает и беспрестанно смеется над всеми поступками человека. — Зачем ты идешь? Что ты думаешь?

А другое, послушное, я, оправдываясь в своем поступке, от которого не хотело отказаться, говорило:

— Перестань, ее верно нет в избе, она должна быть в поле. На это неотвязчивый насмешник шепнул ему на ухо:

— А если она дома, и ты войдешь к ней, все будут знать об этом; муж прибудет ее, хоть и не за что. А тебе разве будет от этого лучше свободнее, веселее? Поможет ли тебе это?

— Мы войдем только напиться воды, — сказала тихонько другое я. — Что же в том, в самом деле, дурного? Да мне даже и очень хочется пить, так жарко.

Он уже стоял перед низенькою дверью избы, тронул щеколду и вошел.

А насмешник хохотал совиным голосом и восклицал:

— О, прекрасно, превосходно, бесподобно! Иди же скорее за новым обманом и за новыми страданиями.

Уляна была дома, стояла в сенях около птиц и что-то работала. Заметив барина, она покраснела, побледнела и остолбенела от удивления и испуга.

Надо заметить, что Тадеуш никогда не ходил по деревне, не бывал в избах. Бедная женщина все это поняла, задрожала и молча ждала, что скажет он ей.

— Дайте мне воды, Уляночка, — сказал тихо Тадеуш, переступая порог.

Гончариха побежала за ведром в первую избу и, все еще красная и трепещущая, вынесла кувшин воды. Тадеуш, будто пьет, поглядывал, но пил он тихо, и смотрел пристально. Уляна закрывалась, утирая фартуком лицо, и не знала, что делать. Дворовые так приучили ее к грубым шуткам, от которых надо было защищаться пятерней и кулаком, как от волка, что наконец, глядя на спокойное, по-видимому, лицо пана, неподвижное его положение, она начала сомневаться в том, что прежде пришло ей на мысль.

— Что ж вы тут делаете одна? — спросил он ее через минутку.

— А что ж. Обыкновенно, в доме найдется

работа.

— Все в поле?

Этот вопрос опять напугал женщину: она молчала, но, как бы вместо ответа, с улицы слышались детские голоса.

— Может быть не рада видеть меня в избе?

— О, и очень, — ответила она принужденно и холодно, снова отирая лицо фартуком. — Наша изба бедна, чем принять пана?

— Богата, коли ты хозяйка, моя красивая Уляночка, — произнес в замешательстве и сам не зная хорошенько, что говорил Тадеуш.

— Разве это богатство? — ответила Гончариха, вздыхая.

— Все тебя любят.

— Тем хуже.

— Отчего?

— Разве вы не знаете? Коли люди любят, так муж не любит, нет ладу в доме: только плач да беда... хуже голоду.

— А муж очень любит тебя?

— Не знаю, должен любить.

— Стар он или молод? Вы ведь иногда идете за мужей моложе вас.

— О, мой старик.

— Как, старик? Кто же тебе велел идти за него?

— Обыкновенно: я из бедной семьи, он богач.

— Бедная, — произнес тихо Тадеуш. — Такая красавица.

— Разве это надолго, — шепнула с презрением женщина.

Во всех ее ответах была какая-то грусть, которая, равно как и беспокойство, рисовалась в ее голосе и в ее фигуре. Тадеуш держал в руках кувшин, словно в оправдание своего продолжительного пребывания в избе; но выйти не мог. Сила взгляда этой женщины, взгляда, в котором было что-то непонятно очаровательное, взгляда, который красивее ее самое, держала его прикованным у двери.

— И ты даже не знаешь, любит ли тебя муж? — повторил Тадеуш.

Женщина взглянула на него и молчала.

— Должен любить меня, — ответила она через минуту, потому что очень ревнив. Сколько раз он бивал меня за то, что кто-нибудь из дворовых шутил со мной.

— Как это, бивал? — воскликнул удивленный Тадеуш. — Он смел тебя ударить!

— Что же тут удивительного, разве я не жена его!

— Правда. Но чем же ты виновата, что красива, и все это видят?

— Я в этом не виновата, но терплю за это. О, уже сколько раз молила я Бога и Божию Матерь,

чтобы освободиться мне от той людской напасти.

— И тебе не по сердцу, коли кто-нибудь полюбит тебя?

— К чему это поведет? Да еще и муж бьет за это. А если бы не бил, что у них за любовь?

При этом восклицании, произнесенным тихим голосом и со вздохом, пан Тадеуш задрожал и уставил на нее глаза.

— Как это? А какую же другую любовь знаешь ты?

— О, знаю, — ответила женщина, опуская глаза, — слышала о ней, когда была во дворе; не раз слышала, как говорили, и видела, как любили по-господски. О, это не так, как дворовые и мы. Та господская любовь какая-то очень хорошая, хоть, грустная, а очень приятная. И она кончается, говорят, всегда печально. Так сказали мне дворовые.

— Правда, правда, это кое-что другое, не ваши, не мужицкие ухаживания, Уляночка, — отвечал Тадеуш. — Но у вас в деревне коли муж прибьет, мать побранит, женщина поплачет, а — мужчина напьется, тем и конец. Там этим и кончается, а за этой господской любовью следует часто болезнь, а часто следует и смерть.

Уляна ничего не сказала, но, скрывая какое-то чувство, ясно обозначавшееся на лице, или, может быть, вздох, отвернулась к курицам, и Тадеуш